

Революция наыворот

Дмитрий Люкшин

Историческая особенность генезиса отечественной историографии, впрочем, как и государства, в роли верной наперсницы которого она неизменно выступала, заключалась в абсолютизации своего рода дедуктивного подхода к социальной фактуре: «на чем старшие порешат, на том и пригороды станут». В рамках такой дискурсивной формации можно прослушать ритм работы государственного механизма, вскрыть логику российских реформ или объяснить административные новеллы военных лет.

Хрестоматийными примерами эффективности данного подхода являются сюжеты о работе екатерининской Уложенной комиссии или о подготовке аграрной реформы в середине позапрошлого века: в обоих случаях искреннее желание государей опереться на устремления общества вызывало организационный коллапс, и лишь прямое вмешательство государства в инновационный процесс позволяло продвинуться в практическом направлении.

Соответственно, попытка истолковать деятельность собрания российских сословных представителей в XVIII в. или губернских комитетов в XIX в. как способ проявления гражданской активности ведёт к выводу о весьма невысоком уровне умственного развития лучших представителей российского общества, а трактуемая в качестве реакции социума на веления государства, она выглядит вполне здравой и разумной.

Единственная проблема с использованием дедуктивного метода в отечественной истории связана с тем, что поднимающиеся из низов интеракции с его помощью не берутся, оставаясь вне исследовательского поля. Принимая во внимание весьма умеренную политическую активность населения нашей страны, это затруднение можно игнорировать, однако некоторые события в

ЛЮКШИН Дмитрий Иванович – кандидат исторических наук (Институт истории Казанского (Приволжского) федерального университета). *E-mail*: Dmitri.Lyukshin@ksu.ru

Ключевые слова: вторая русская смута, общинная революция, крестьяне.

прошлом Отечества всё же требуют для истолкования методов, так сказать, индуктивных.

Неслучайно русская смута XVII в. являлась для русских историков наиболее сложным явлением, а непротиворечивое разъяснение её внутренней логики предполагало некоторую методологическую раскованность. Можно предположить, что и осмысление Второй русской смуты, – с лёгкой руки В.П.Булдакова поименованной «Красной», – требовало мобилизации методологических практик, выходящих за пределы традиционной номенклатуры приёмов отечественной историографии.

История, однако, не дала представителям русской исторической науки шанса описать события 1917 г., а для обществоведения советского извода методологический плюрализм был немислим. Впрочем, представители цеха советских прорицателей о прошлом нашли два способа обойти это затруднение. Первый предполагал подстраивание событий прошлого под тяжёлый ритм законов исторического развития*, второй – интерпретацию социально-политических трендов, воплощённых в стихийных массовых движениях, как реакции социального тела на интеракцию власти или политической группы**. Решение для страны с минимально эффективной экспрессивной функцией права весьма смелое, однако же в дискурсе советского истмата приемлемое.

То обстоятельство, что эти приёмы закрепились в современной историографической традиции, обуславливает, в частности, актуальное состояние историографии в нашей стране, когда область исторического исследования, хотя бы и избавленного от принудительных обязательств по части прорицания, остаётся сферой, где под личиной прошлого бьётся пульс насущного, а мёртвый, хватая живого, не даёт остановиться, без спешки и обстоятельно разобраться в делах давно минувших дней.

В этом смысле аграрный вопрос для отечественного исторического сообщества остаётся одной из злободневных тем, несмотря даже на окончательное его разрешение, обусловленное исчезновением крестьянства как социальной группы. Стойкое неприятие крестьянством «освободительных» проектов уже к концу XIX в. заставило интеллектуалов обратиться к изучению социального

тела российской деревни. Тогда же аграрный вопрос приобрёл и свою дурную репутацию, поскольку присяжные модернизаторы и боявшаяся опоздать на экспресс прогресса интеллигенция получали в ответ ровно то, что просилось вместо того, чего хотелось.

Собственно, крестьяне сделались объектом профессионального научного анализа лишь полстолетия

** В итоге Октябрьский переворот 1917 г., например, предстал в качестве закономерного явления, что, попутно, освобождало любознательных исследователей от необходимости углубляться в детали политических технологий большевиков.

** В результате появилась возможность настаивать на ведущей роли большевиков в революции 1905 г., например, или, скажем, определить конец 1917 г. как период «триумфального шествия советской власти».

спустя, оказавшись включёнными в дискурс так называемого организационно-производственного направления, в отечественной традиции персонафицированного А.В.Чаяновым. Но в условиях утверждения методологического монизма это научное направление не получило развития, а его представители были ликвидированы. Потребовалось ещё полвека для того, чтобы чаяновские идеи, ретранслированные представителями евро-атлантической науки, обратили на себя внимание российских гуманитариев. В обстановке методологического ажиотажа начала 90-х годов стартовали крестьяноведческие исследования.

Под руководством Т.Шанина сложилась активно взявшаяся за дело группа для работы над проектом «Изучение социальной структуры российского села». Крестьяноведческие методики были презентованы на семинаре «Современные концепции аграрного развития», руководителем которого стал В.П. Данилов.

Материалы семинара, опубликованные в журнале «Отечественная история» в 1992–1998 гг. и в вышедшей в 1992 г. хрестоматии крестьяноведения «Великий незнакомец: крестьяне и фермеры в современном мире», стали достоянием широкой научной общественности, заподозрившей в новом подходе ключ для открытия ларчика с ответом на крестьянский вопрос.

Вскоре, правда, оказалось, что этим ключиком открывался ящик Пандоры, из которого вырвались темы и проблемы, оказавшиеся неудобными для российского исследовательского этоса, сохранявшего родовую мету этацентризма как единственного возможного способа измерения исторического поля. Уже в 1993 г. обнаружилось принци-

пальное расхождение между крестьяноведением и отечественным историческим обществоведением.

Камнем преткновения оказалась сакральная нумерология аграрного вопроса.

Очевидное для профессионалов «советской выделки» ограничение дискуссионного поля вопросом о процентном соотношении беднейшего крестьянства в предреволюционной деревне, за которым угадывались «сталинская» – в смысле консервативная, или, напротив, «постсталинская» – квазилиберальная позиции, оказалось неприемлемым для представителя либеральной евро-атлантической науки, отказавшегося продолжать бессмысленную с точки зрения социантропологического подхода дискуссию.

По мнению Т.Шанина, наличие 65% бедняков в деревне являлось «злой шуткой над логикой современных исследований», однако же и четверть бедняков – непосильная ноша для общины¹ с её ограниченными ресурсами. В результате крестьяноведы, ведомые Т.Шаниным и В.П.Даниловым, сделав упор на изучение современной российской деревни, постепенно оставили собственно историческую площадку.

В то же время историческое сообщество, разочарованное в своих ожиданиях, преодолело крестьяноведческий вызов.

К концу 90-х годов крестьяноведение и аграрная история оказались вполне автономными, сосредоточившись на собственных проблемах. Проблема, как кажется, заключается в том, что крестьяноведческие подходы практически неприменимы к современной российской деревне,

обходящейся, как минимум последние полвека, вообще без крестьян. С другой стороны, аграрная история без освоения чайновско-скоттовских подходов не может продвинуться в решении своей профессиональной задачи – вскрытия причинно-следственных связей в прошлом, поскольку методов позитивной науки для исследования аграрной истории оказывается недостаточно. Затруднение это отнюдь не относится к числу национальных болезней российской науки, проблема в том, что российское историческое сообщество *par excellence* либо не замечает, либо не желает замечать инструментария, потребного для продвижения в сфере аграрной истории.

То обстоятельство, что общинная революция 1917 г. развивалась согласно собственной логике, постепенно, но довольно энергично, – весь «чёрный передел» уложился практически в полгода, – вытесняя всё большее количество населения за пределы сферы компетенции государства, исключает её понимание как процесса, инициированного государством. Вместе с тем масштаб этой внеполитической по своей природе деятельности не позволяет оценить её как автономный социальный кейс: аграрный саботаж, ставший наиболее эффективным оружием крестьянства в ходе его хозяйственно-политической эмансипации, составлявшей содержание общинной революции, выталкивал общину, хотя бы и против её желания, на поле политическое, где она вынуждена была реагировать на вызовы сил, претендовавших на статус политических акторов.

Проще говоря, участники brutальной схватки над телом бывшей

империи объективно нуждались в мобилизации деревенских ресурсов, право на которые крестьяне, после Декрета «О земле», с полным основанием считали своей прерогативой. В результате сформировался конфликт интересов, в котором крестьянство оказалось вынуждено отстаивать плоды общинной революции, новые плоды власти – каждая на собственной территории, в меру своей компетенции и соразмерно потребностям – приступили к покорению страны крестьянской утопии.

Взаимоотношения крестьянства и власти в России – один из наиболее драматических сюжетов истории нашей, едва ли не до последнего времени остававшихся в тени классовых битв, разворачивавшихся на поле отечественной историографии, и по сей день остаётся неудобной темой для историков: явная нехватка прямых источников, высокая степень местной специфики и слабая укоренённость социально-бытовых сюжетов в этацентристском дискурсе русской истории могут служить извинением для подмастерьев Клию, не испытывающих особого желания углубляться в особую ауру сельского мира, демонстрирующего неизменную косность и антимодернизаторские интенции. Собственно говоря, единственной причиной, побуждающей ворошить угли общинной революции, остаётся та роль, которую российское крестьянство играло в начале XX в. в жизни страны. Полнеба закрывающая исполинская фигура мужика, выступающего под маской Великого незнакомца, завораживает, притягивая взоры многих поколений историков.

Русская смута, коллизиями которой был отмечен распад имперской государственности России, примечательна в первую очередь крестьянскими бунтами, в сравнении с которыми пугачёвщина, казалась едва ли не невинным развлечением. По-другому и быть не могло: крестьяне в начале XX в. составляли не менее 80% населения страны*. В историко-софском смысле именно их выбор должен был определить дальнейшую судьбу России.

Современные исследования крестьянства дают основание полагать, что оно было не приспособлено для бытования в рамках индустриального общества, формирование анклавов которого в недрах российского социума оказалось инициировано вестернизированными носителями русской государственности (вотчинной по природе), хотя бы и против их желания. В середине XIX в. стало очевидно: модернизация обусловила деформацию традиционной структуры российского общества, в ходе которой патриархальное крестьянство оказалось «ненужным» классом для представителей новой России.

Проблема заключалась в том, что крестьянская масса по-прежнему оставалась основным источником налогов, экспортной продукции и производителем продовольствия. Других источников дохода у правительства не было. Впервые взглянув на крестьян как на рабов ещё в сере-

дине XVIII в. (С.Ф.Платонов), российское государство не прекращало затем наступления на их личные и имущественные права. Такой подход, хотя и не соответствовал ни фактическому положению крестьян, ни той заинтересованности, какую само правительство обнаруживало в ресурсах, доставляемых сельскими общинами, позволял тем не менее в житейской, а главное, в административной практике экстраполировать на крестьянство признаки холопьевого состояния.

До тех пор пока архитектура социального пространства являлась продуктом структур повседневности, а население удовлетворяло государственные нужды, правительство избегало вмешательства в дела сельских общин. Но уже во второй половине XIX в. предпринятая коронными модернизаторами попытка пожить в деревне вынудила формализовать социальный статус мелких сельскохозяйственных производителей. В результате вскрылась асимметрия в конструкции российской моральной экономики – существенное расхождение между действительным социально-правовым положением крестьян и их представлениями о том, как это должно выглядеть «по справедливости».

Многовековая практика выживания породила сложную систему технологических и социальных

* В данном случае речь идёт не о крестьянах только по социальному происхождению (их фактически было ещё больше), а о тех мелких сельскохозяйственных производителях, которые, используя простой инвентарь и труд членов своей семьи, работали – прямо или косвенно – на удовлетворение своих собственных потребительских нужд и выполнение обязательств по отношению к носителям политической и экономической власти (определение предложено Т.Шаниным).

практик, обеспечивавших наиболее комфортные условия жизни членов крестьянских сообществ. Они несколько различались в зависимости от климатических и природных характеристик, медленно трансформировались с течением времени, но общая их цель оставалась неизменной: обеспечение физиологического существования как можно большего числа членов крестьянского мира и воспроизводство его структуры. Данный стиль жизни (Дж. Скотт назвал его «этикой выживания») способствовал выработке у членов крестьянских обществ соответствующего мировидения и оригинальных представлений о том, каким образом должны строиться отношения крестьян с внешним по отношению к общине миром, т.е. как раз то, что в современном крестьяноведении называется «моральной экономикой» крестьянства.

После «Великих реформ» второй половины XIX в. деревенская структура испытывала разную степень интенсивности натиск со стороны государства и поддерживаемого им индустриального производства, однако ленинская оценка уровня капиталистической модернизации* оказалась явно завышенной. Традиционные «структуры материальной жизни» (Ф. Бродель) в начале XX в.

продолжали доминировать в большинстве российских губерний. Наименьшее воздействие модернизаторские усилия правительства оказали на российскую глубинку, в частности Поволжье – регион, в котором проживало около 6% населения империи**.

Поволжский район может служить уменьшенной копией общероссийских коллизий. Оставаясь полиэтничным и поликонфессиональным, он испытывал воздействие общих для страны процессов.

Волга и прилегающие районы были включены в состав Московского царства в XVI в. и колонизированы в течении второй половины XVI – начала XVII в.

Наличие свободных пространств и лучшие, в сравнении с подмосковными климатические условия и качество почвы позволили распространить на Поволжье сложившиеся хозяйственные приёмы русского крестьянства и даже повысить их эффективность хозяйствования. Однако Иван IV не был в особом восторге от своих восточных приобретений, бояря они интересовали прежде всего как трамплин для экспансии в Сибирь***, а со времён Петра I этот регион вообще стал рассматриваться как дальняя провинция.

Местное население, как автохтонное****, так и пришлое, оказалось фактически предоставлено само себе, что способствовало укреплению традиций этики выживания и моральной экономики, сохранявшими свою актуальность и в начале XX в.

* В.И. Ленин необоснованно объединял под вывеской «развитие капитализма в России» прогресс в области кредитно-процентных отношений и расширение географии рыночного обмена. Ф. Бродель убедительно показал различия в природе этих явлений. В России процессы капитализации и развития национального рынка оставались относительно автономными.

** На 1 января 1914 г. в Поволжье проживало 15 232,4 тыс. чел.

*** Ресурсы Сибири: меха, зверь, самоцветы и т.п. представляли собой традиционные фетиши достатка населения империи.

**** Территория Поволжья неоднократно подвергалась колонизации, поэтому говорить об автохтонном населении можно лишь условно, имея в виду ту его часть, которую застали русские колонисты.

Сельское население Поволжья составляло более 80%* жителей края. Товарность сельскохозяйственного производства в регионе была сравнительно невелика, некоторый избыток продовольствия поступал, как правило, на внутренний рынок³.

Большая часть земель принадлежала помещикам, члены которых вели традиционное хозяйство, более или менее регулярно производя переделы и арендуя земли частным владельцам в основном для собственного прокормления**. Судя по всему, большая часть крестьян вполне довольствовалась своим положением, во всяком случае ни в годы Первой русской революции, ни в период столыпинской аграрной реформы они не доставляли особых хлопот властям. Вместе с тем крестьянство губернии без особого энтузиазма встречало усилия правительства по насаждению мелкого частного землевладения в 1906–1915 гг., предпочитая оставаться в лоне собственного мира.

Э тот разрыв между мужицким чувством и государственным интересом составил основное содержание знаменитого крестьянского вопроса в том формате, в каком его пытались решать последующие пятьдесят лет. Проблема, однако, состояла в том, что «праведное крестьянское возмущение по поводу поправок» (Дж. Скотт) на поле политики было конвертировано в материальные претензии, основное содержание которых было выражено королёвским «Земли! Земли!», хотя стилистика примиряющей мысли самого Владимира Галактионовича оказалась не по вкусу всем, кто на разных концах политического про-

странства этот тезис эксплуатировал.

Традиционные формы деревенского бытования предполагали использование не только определённых технологических приёмов, но и веками наработанных практик общения как внутри общины, так и с социальными субъектами вне её. В структуре моральной экономики не последнее место занимала система тревожных сигналов, призванных донести до начальства информацию о том, что в результате деятельности их представителей попираются законные права общинников. Речь идет о крестьянских «беспорядках».

Кроме того, крестьяне практиковали мелкие незаконные акты (такие как порубки и покосы на лесных полянах), полагая при этом, что владельцы угодий должны им попустительствовать. Исследователи квалифицируют эти социальные стратегии крестьянства как оборонительные⁴. В общем смысле, это соответствует действительности, хотя возмущение по поводу «попраных прав» часто проявлялось у крестьян в агрессивной форме (пьяный дебош, потрава, поджог и т.п.). В любом случае эти действия не носили антисистемного характера, более того, в рамках моральной экономики они играли роль приглашения к диалогу. На протяжении тысячелетий аграрной деспотии, чтобы урезонить общинников, прибегали к аргументам из военно-полицейского арсенала, од-

* В советской историографии утвердилась цифра 82% населения, занятого в сельском хозяйстве².

** Татарам и прочим инородцам в этом смысле приходилось тяжелее, чем русским, поскольку они никогда не были крепостными, и, следовательно, «своих» помещиков, по привычке сдававших землю за невысокую арендную плату, у них не было.

нако их применение, как правило, носило демонстрационный характер. Репрессивность/«опальчивость» властей входила в общие «условия игры» в пределах всё той же моральной экономики. Чтобы уgomонить общинников, государство всегда держало в запасе и набор уступок. Таковы традиционные правила диалога патримониального государства и крестьян-общинников, где «дискуссионное поле» ограничивалось, с одной стороны, частоколом штыков, а с другой – заревом горящих усадеб.

Отличительная особенность крестьянских выступлений эпохи второй русской смуты, в особенности акций 1917 г., заключается в их массовости*, агрессивности и непривычном упорстве, с которым крестьяне сопротивлялись органам внутренних дел (милиция) и даже воинским командам**. Брутальность пейзажа тем более удивительна, что никаких привычных оснований для бунтарства у крестьян-общинников Поволжья после Февральской революции вроде бы не было.

Во всяком случае, популярный в советской и советологической историографии тезис об обнищании рос-

сийской деревни в годы войны документально не подтверждается, даже земельный вопрос разрешился сам собой. В эти годы в крестьянских хозяйствах Поволжья повсеместно накапливались запасы продовольствия и даже повысились нормы массового потребления³.

Чем же был обусловлен всплеск беспорядков? Что же случилось с крестьянами-общинниками?

Куда подевались их оборонительные стратегии?

Наконец, почему они вообще выступили именно в 1917 г.?

По итогам наблюдения за коллизиями общинной революции сам В.Г.Короленко счёл этот лозунг одной из двух «неправд», чья борьба, обрета в годы второй русской смуты «грандиозно-дикий размах», исключила для России, – во всяком случае на время, – возможность воплощения мечты о примирении непримиримого, в которую он обречённо-оптимистически верил.

Вторую «неправду» воплощало государство, что, не разбирая «добрых» и «злых», не желало (а может, и не могло) видеть за «общественной категорией» живых людей. К тому же Временное правительство, уничтожив

* Казанский исследователь И.М.Ионенко в своей кандидатской диссертации «Революционная борьба крестьянства Среднего Поволжья в период подготовки Великой Октябрьской социалистической революции (по материалам Казанской губернии)» называет цифру: более 800 крестьянских выступлений. В ходе фронтального анализа фондов местных архивов обнаружено описание около трёхсот крестьянских беспорядков, в которых приняло участие не менее 26 000 человек только в Казанской губернии за период с марта по октябрь 1917 г. Отнюдь не все беспорядки оказались включены тогда в общую статистику, тем более описаны. С другой стороны, в советское время в числе актов «крестьянской борьбы» фигурировали чисто уголовные преступления. Учитывая всё это, правильнее было бы говорить не менее чем о 700 выступлений в данный период в губернии.

** Из проанализированных крестьянских выступлений около четверти имели в качестве объектов нападения различные государственные институты, не менее дюжины связаны с оказанием сопротивления воинским командам, направленным для заготовки продовольствия.

корпус жандармов, департамент полиции и институты полицейского сыска, фактически распорядилось с привычным аппаратом имперского управления как таковым*. Лишившись жандармско-полицейского остова государственности, оно в итоге оказалось неспособно объединить людские усилия для решения национальных проблем. Кроме того, полицейский аппарат (и прежде всего – политическая полиция) империи был едва ли не единственным государственным органом, проникавшим на низший, волостной уровень управления. Утратив это «государево око», правительство как бы сразу ослепло, лишившись возможности получать и анализировать информацию о жизни большинства населения страны. В данной ситуации лишались всякого значения политические ориентации или партийные программы правящих элит: в условиях возникшей информационной блокады ни одно правительство не смогло бы контролировать положение дел.

Дезертиры, розыском которых занимались жандармские управления, оказались предоставлены сами себе. Клету численность мужского населения в Поволжье увеличилась почти на одну пятую. Этот демографический взрыв произошел за счёт солдат, которые или сбежали из своих частей, или не пожелали возвратиться

из отпусков**. Именно дезертиры и отпускники выступили зачинщиками первых крестьянских беспорядков⁵.

Акции эти носили аффективно-спонтанный характер. Крестьяне стали подключаться к акциям бывших солдат по мере развала структур управления, когда дезертиры как бы легализовались и смогли вновь включиться в структуры крестьянских общин. Причина происходящего крылась в том, что, поскольку незаконные акты оставались государством без последствий, они, в соответствии с принципами моральной экономики, считались как бы санкционированными властью. Так как в крестьянской среде было широко распространено убеждение, что максимум моральной экономики серьёзно искажены землевладельцами и чиновниками, то крестьяне воспринимали всё происходившее именно как санкционированную (наконец-то) властью акцию.

Временное правительство допустило и ещё один стратегический просчёт, передав, хотя бы и временно, прерогативы государственной власти на местах наспех сформированным комитетам из местных жителей. В результате реальная власть на сельском и волостном уровнях оказалась у общинных институтов самоуправления, которые прежде рассмат-

* В.И. Ленин, сделав в «Развитии капитализма в России» вывод о формировании прочных рыночных связей между российскими регионами, вероятно всерьёз считал, что дело обстоит именно так, однако быстрый развал империи конце 1917–1918 году показал, что регионы России не только могут, но и стремятся жить самостоятельно. Что же касается рыночной инфраструктуры в аграрном секторе национального хозяйства, то она лежала в руинах уже к концу 1916 г.³

** Разумеется, это была не единственная категория деревенских смутьянов. Сыграли свою роль и всевозможные агитаторы, приезжавшие в деревню помитинговать.

ривались исключительно как инструмент сбора налогов, поставки новобранцев и поимки преступников. В итоге крестьянское недовольство, возникшее вследствие государственной экспансии в сферу аграрного производства, оказалось не только выпущено наружу, но и как бы легитимизировано. Сделавшись властью, органы общинного самоуправления (а именно их члены оказались во всевозможных комитетах сельского и волостного уровней) постарались как можно скорее восстановить свои так долго попираемые права⁶.

К осени 1917 г. в районах Средней Волги и Приуралья власть, казалось, безраздельно принадлежала КОБам*, земельным и т.п. комитетам волостного уровня, в которых доминировали лидеры крестьянских обществ. «Чёрный передел», таким образом, осуществлялся не вопреки, а по воле органов власти.

Учитывая это обстоятельство, в пору удивиться не тому, что мужички разгромили внеобщинные хозяйственные формы, а тому, что делали это не спеша⁷. Причина – избыток земли, инерция моральной экономики**.

Власть КОБов продержалась, однако, недолго последняя иллюзия «правильного» государственного устройства была разрушена в результате попытки Временного правительства настоять на реализации так называемой хлебной монополии (централизованных заготовок продовольствия), объявленной ещё в марте.

Весной и летом проведение заготовок в деревнях из-за отсутствия заготовительного аппарата, а также желания крестьян сдавать хлеб по «твёрдым ценам» оказалось невозможным. Поэтому основной объём заготовленного продовольствия был получен в частновладельческих и хуторских хозяйствах. Последние к осени лишились практически и земли, и хлеба. Правительство же, вместо того чтобы организовать вывоз скопившихся на станциях запасов продуктов, приняло решение использовать вооружённые силы для принудительной заготовки продовольствия.

Отправка в деревню воинских команд, которым низовые органы власти должны были оказывать содействие, ввергла институт волостных комитетов в состояние глубокого кризиса. Часть из них, не решившаяся выступить против государства, была либо распущена сельскими сходками, либо разгромлена крестьянскими толпами в период с сентября по ноябрь 1917 г. Акты насилия повсеместно сопровождали этот процесс.

Другие волостные комитеты сами возглавили крестьянское противодействие воинским командам и представителям власти.

Так, председатель Марасинского волостного КОБа Мохов лично агитировал против хлебной монополии⁸, комиссары Мало-Корочинской и Акрамовской волостей Казанской губернии также лично возглавили сопротивление воинским командам⁸.

За противодействие проведению в жизнь хлебной монополии члены мятежных управ и

* КОБ – комитет общественной безопасности.

** Например, в Казанском уезде до 24 июля поместья даже не облагались мирскими податями⁸.

комитетов лишались своих постов, иногда их даже удавалось судить*.

Оказавшись перед выбором между «городской» властью и односельчанами, руководители комитетов всё чаще принимали сторону вторых. К тому же новые комитеты и управы взамен уничтоженных просто не успевали создавать. В дальнейшем им на смену либо приходили Советы, либо их полномочия принимали на себя общинные структуры, которые, кстати сказать, зачастую сохраняли названия комитетов.

Совершенно очевидно, что новые формы взаимодействия с властью не удовлетворили крестьян. Использование традиционных социальных стратегий общинным крестьянством обернулось при Временном правительстве, пытавшемся применять либеральные практики управления, беспорядками всероссийского масштаба. Лишь осенью правительство (заметим, социалистическое) сообразило, что по собственной инициативе крестьяне хлеба не отдадут, а органы народной власти не склонны идентифицировать себя с питерскими бюрократами. Но к тому времени беспорядки приобрели уже такие масштабы, что армейских команд попросту не хватало, милиция оказа-

лась неэффективной (хотя милиционеров в сравнении с полицией было больше), вероятно потому, что до 80% милиционеров ещё вчера были крестьянами. Жандармов же и конных стражников, которые обычно «успокаивали» крестьян, уже не было. Органы демократической власти безнадежно теряли доверие населения, и лишь немногие из них дотянули до весны следующего года.

Смена правительства в октябре 1917 г. практически не отразилась на динамике событий. Захватившие власть Советы (например, Казанский совет крестьянских депутатов с 17 декабря 1917 г. взял на себя ответственность за скупку, ссыпку и распределение хлебов) также занялись выколачиванием продовольствия из деревни. Результаты были примерно теми же, что и у предшественников. В целом депутаты Советов в отношении хлеба, укрытого в деревнях, были настроены более решительно, чем прежняя власть. У новых правителей появились оригинальные идеи: «...закрыть управы и ждать, когда крестьяне сами власти захотят» ввести развёрстку, которая «заставит бедных крестьян отобрать хлеб у кулаков», и т.п. Однако же сил для этого у них в 1917 г. не хватало.

Ключевой сюжет «Красной смуты» – общинная революция – фактически подвела черту под историей Российской империи, открыв новую эру в отношениях между властью и крестьянством, время, когда власть боялась крестьянства, обретаясь исключительно его «попустительством» (С.Ф.Платонов).

Ставить знак равенства между достопышинской деревней и той же деревней после Гражданской войны и пытаться делать вид, будто бы в промежутке «ничего между ними не было» (В.П.Катаев), – опасная иллюзия.

* Так, в сентябре 1917 г. были арестованы председатель Спасского уездного продовольственного комитета Гордеев и председатель Марасинского волостного КОБа Мохов⁸.

В этом смысле можно сказать, что безотносительно моральных максим и объективных потребностей само существование идеократического режима в нашей стране могло быть санкционировано лишь реконкистой «страны крестьянской утопии» (А.В. Чаянов).

Прав, значит, оказался делегат крестьянского съезда 1906 г. (чьи слова вспомнил В.Г.Короленко в своём знаменитом очерке), пророчествовавший, что «за землю придётся непременно заплатить если не деньгами, то кровью».

Поскольку ни одна политическая сила в постимперской России не располагала, с точки зрения крестьянства, достаточным авторитетом для использования морально-экономических приемов экспроприации, постольку речь могла идти только об экспроприации насильственной. В конце второго десятилетия прошлого века это достаточно ясно понимали все участники политического процесса.

Выяснение того, каким путем «большевики ухитрились удержать влияние на массы русского народа» (Ф.Нитти), по сей день может оставаться предметом дискуссии, если не принять во внимание большую последовательность адептов мировой революции в проведении соответствующих мероприятий в отношении народа собственной страны.

Примечания

¹ Отечественная история. 1993. № 6. С. 105.

² Кибардин М.А. Большевики Казанской губернии во главе аграрных преобразований 1917–1919 годов. Казань, 1963. С. 19; Гарафутдинов Р.А., Румянцев Е.Д. Долой войну, долой самодержавье! Саратов, 1990. С. 43.

³ Кондратьев Н.Д. Рынок хлебов и его регулирование во время войны и революции. М., 1991. С. 95–100, 132, 143–144.

⁴ Великий незнакомец: крестьяне и фермеры в современном мире. М., 1992.

⁵ НА РГ Ф. Р-98. Оп. 1 Д. 1 Л. 184; Там же. Д. 2. Л. 5, 59; Там же. Ф.1246. Оп. 1. Д. 23. л. 76, 78, 101, 115, 128, 150, 156; Там же. Д. 34. Л. 14–16 и др.

⁶ НА РГ. Ф. Р-98. Оп. 1. Д. 11. Л. 73, 77–79, 83–87, 96–97; Там же. Ф. 983. Оп. 1. Д. 23. Л. 217; Там же. Д. 36. Л. 16–18 и др.

⁷ НА РГ. Ф. 1246. Оп. 1. Д. 34. Л. 230–231.

⁸ НА РГ Ф. 1246. Оп. 1. Д. 181. Л. 131; Д. 180. Л. 339–341; Д. 181. Л. 212–215; Д. 180. Л. 386.